* * *

Травы августа были густыми.
И гусята по воле гусыни
пробивались к прохладе речной.
И счастливое пение речки
в золотом среднерусском колечке
отменяло египетский зной.

Там, в Хургаде, не то в Шарм-эль-шейхе
полунищие гордые шейхи
с низких корточек смотрят наверх,
на открытые бёдра блондинок,
каждый в пятницу, праведник, инок,
но сегодня как будто – четверг...

Эту речку, где плещет уклейка.
звать Самайка, Семейка, Сумейка –
я не помню, как кличут её.
Только, мамой клянусь, сукой буду,
эта речка окрестному люду
и дорога, и харч, и питьё.

Здесь надёжный, весомый и зримый,
овощ, данный нам Екатериной,
шкурой чует, что – среди своих.
Пальцы жжёт раскалённая пища.
Дым отечества, дым костровища
подозрительно лёгок и тих.

Что ж нам жить так печально и сложно?
Здесь же – Родина, где невозможна
жижа лжи меж тобою и мной.
Как же столь уважительный к силе
Русский мир, о котором твердили,
обернулся такою войной?

РУБЛЁВСКИЙ КАРЬЕР

Что ты хотел увидать на Рублёвском карьере,
через полвека приехав к знакомой воде?
Всё, что случилось в любви, в безобразьях, в карьере –
всё оказалось забытым, неведомо где.
Всё оживает в слегка изувеченном виде:
в длинной блондинке, в пьянчужке, в гитаре с юнцом.
Хочется подлому времени крикнуть: – Отыди!
и полежать с ожидающим счастья лицом.

Полно! Хорошее слово в народе есть – полно!
Пусть позабыто. Но есть же оно в словаре.
Ты, уважающий в сексе одно только порно,
ты не товарищ мне в древней забытой игре.
В ней ни нахальство, ни мышцы, ни степень загара.
нет, не решают, а – тайна, энигма!.. Молчи!
Тех уже нет, ну, а этим, живым, ты не пара.
Вон они, две не зажжённые (жалко!) свечи.

Дай же им, Господи! Их золотые фигуры
на неантичном оттенке рублёвской воды
будут ещё пару лет высоки, не понуры,
праздником летним дарованной им наготы.
Те, что стояли тогда на светящемся фоне
той же (она ж не проточная!) мелкой волны –
что бы я дал, чтобы в нашем синхрофазотроне
это сейчас оказались бы снова они!

Я полагаюсь на бешенство щучьего слова,
не признающего физики школьных страниц...

Этот дешёвый задроченный пляжик Рублёва
стоит того, чтоб склониться пред временем ниц.
Не потому, что в системе загадок и кодов
в ходе своём не щадит и гигантов самих,
а потому, что само не предвидит проколов –
слава ему: не предвидит проколов своих.

* * *

Поразительная дисциплина
и при этом размах неземной
в красоте журавлиного клина,
пролетающего надо мной.
Потрясающая безупречность
в поведенье животных и трав.
Уж, свивающийся в бесконечность,
развился, ибо понял: неправ.

Вспоминай об усопшем Союзе
хочешь с матом, а хочешь с тоской.
Никакая из русских иллюзий
не слыхала осанны такой.
А какие случались разборки
у Союза распухшего! Но
чуда горизонтальной восьмёрки
и ему подтвердить не дано.

Я машу подрастающим детям.
И слежу, как всегда поражён,
за великой природой, за этим
уползающим в травы ужом.
И приходит апрель, и, конечно,
веет маем от близкой реки.
И весна надо мной бесконечна,
бесконечна, всему вопреки.

* * *

Да не лепо ли ны бяшеть, братия
начати старыми словесы...

Март. Тяжёлая апатия.
От газетной полосы.
От того, что водка тёплая.
От того, что к дряблым мышцам не готов.
От того, что сводка – тёмная,
от названий осаждённых городов.
Вот ушли за поколеньем поколения,
кто в окопе, кто и – на скаку.
Первым древнерусским словом гения
оставалось Слово о полку.
Не о стенах для охраны города,
не о фресках древних расписных –
о степи, что конницей распорота
да о хищных воронах степных.
Летопись, и вечная и бренная,
ты каких загадок ни полна,
суть твоя – кровавая, военная.
глянешь на страницу – там война.
О, русская земля...

Даже детский восторг,
счёт победного гейма
и любовь, и счастливые дни –
в сотне метров от линии Маннергейма
в двух шагах от немецкой брони.
И куда ни положит меня семья:
то ли здесь, в Переделкино,
то ль – на Ваганьково, к маме...
О, русская земля,
ты уже за холмами!

«ИВАНОВ»

В пьесе Чехова «Иванов»
ничего не происходит.
Меж ничтожеств и болванов
неврастеник мрачно ходит,
на любовь жены не зарясь,
сторонясь напитов крепких,

неизменно огрызаясь
на поток дурацких реплик.
Этот Боркин с крепкой глоткой...
Эта Саша с детской шейкой...
И жена больна чахоткой,
будучи к тому ж еврейкой...
Невозможны в мире тошном
ни жена, ни та девица,
да, любовь, похоже, в прошлом,
ну а новой он боится.
Да, долги... Да, жизнь проходит...
Но где «экшн», дорогие?
Ничего не происходит.
Странная драматургия...

Так и надо делать пьесы,
кроме, разве, детективов:
никаких фальшивых стрессов,
никаких искусных взрывов!
Мне порою так зевалось
от иных интриг, Иванов!
Тут следишь не отрываясь,
если сам не из болванов.
И узнать судьбину-суку,
главное, пустяк: ведь, эка,
человек взял что-то в руку –
бах! И нету человека.

МАЛИНОВОЕ ОБЛАКО

Малиновое облако над предвечерним лесом,
я наблюдаю за тобой с весёлым интересом.
Богат и щедр земной наш мир, тут розы, козы, осы.
Но облако занятно мне, его метаморфозы.
Вокруг не видно никого, лишь я, непосторонний.
Никто не нужен нам сейчас. Вот разве что Полоний.
Хоть я отнюдь не царский сын, по слабости придворной
он соглашался бы со мной с улыбочкой притворной.

Сказал бы я , что ты – верблюд, он, не пугаясь вздора,
добавил бы, что этот горб, ну, как у дромадера.
Сказал бы я, что ты – хорёк, и он бы, потакая,
отметил бы, что так и есть, «и мордочка такая».

Но нет Полония давно. И мир, скажи на милость,
совсем другой. А связь времён, нет, не восстановилась.
И если я сейчас смотрю на небеса с улыбкой,
то это потому , что я обучен жизни гибкой.
Да, я верблюд. Да, я хорёк. Да, я меняю лица.
И кто бы знал, во что б я мог и дальше превратиться,
когда б не этот чёрный принц, тот сирота-задира,
орущий не кому-то – мне со всех подмостков мира
«Быть иль не быть, быть иль не быть,
быть иль не быть», – так грозно,
что часто хочется спросить артиста: – Ты серьёзно?
Конечно, быть. Вон как гремит живое царство птичье.
И облако теперь летит в сиреневом обличье
туда, где с внешней стороны луч красит позолота,
где друг без друга не нужны ни море, ни болото.

* * *

Мы – подобье Его. Но ведь Он не явил нам лица.
В Назарете не знали, похож ли Иисус на отца.
А о нас-то уж что говорить... Впрочем, речь о другом –
о случайном кузнечике, умершем под сапогом.

Та кровавая сорок второго размера судьба
неужели настолько глуха и настолько слепа,
чтоб не слышать прекрасного стрёкота в майской траве
и явить нам безбожье, приличное лишь в Божестве?

Высший смысл этой акции низкой неясен пока
ни для бабочки лёгкой, ни для волевого жука.
Да и будет ли ясен, поскольку сапог – ни гу-гу
и, видать, то, что он натворил, невдомёк сапогу...

А кузнечик с последним движеньем затих под кустом.
Чьё мы всё же подобье?.. А впрочем, ведь речь не о том.
Речь о том, что – весна и заря предвещают теплынь,
и кузнечики всласть воспевают родную полынь.

* * *

Немой раздор берёзы и сосны.
Разнообразье снов в канун весны.
Апрель. А мы кому-нибудь должны,
что нас зовут себя готовить к лету?
Вся жизнь лишь подготовка. Жить когда?
Вот март прошёл и скрылся без следа.
А ведь блистательную пору эту
готовились мы встретить весь февраль.
И март – фуфло. И с февралем – беда.
Вы верите в счастливую примету,
что будет дивным май? Я – никогда...

Я пошутил. Пусть верно, что канун
прекраснее событья. Тот, кто юн,
ждёт звёздной ночи, да с десятком лун,
Он этой явью явно недоволен.
А мне приятен сложный мир ночной
с его неоднозначной глубиной
среди дерев, бойниц и колоколен.
Я столько раз был к жизни не готов.
Но я согласен: надо жить сейчас,
среди других племён, народов, рас,
среди святых и смертных, и скотов,
и этих, кто здоров, и тех, кто болен.

Я не готов ни ликовать, ни ныть.
Мне кажется порой: мы чья-то сыть.
А всё ж быть может, (очень может быть!)
что жизнь лишь череда прекрасных мигов.

И, миф любя и принимая крест,
так хочется с иных причинных мест
взять да сорвать иной листочек фигов
и увидать: свободна от вранья,
она и так прекрасна жизнь твоя,
без революций, ломок и блицкригов.

г. Москва